

Вадим Цымбурский



КОНЬЮНКТУРЫ
ЗЕМЛИ И ВРЕМЕНИ

Вадим Цымбурский

**Конъюнктуры Земли и
времени. Геополитические
и хронополитические
интеллектуальные расследования**

«Европа»

2011

Цымбурский В. Л.

Конъюнктуры Земли и времени. Геополитические и хронополитические интеллектуальные расследования / В. Л. Цымбурский — «Европа», 2011

В сборнике статей отечественного филолога и политолога Вадима Цымбурского представлены «интеллектуальные расследования» ученого по отдельным вопросам российской геополитики и хронополитики; несколько развернутых рецензий на современные труды в этих областях знания; цикл работ, посвященных понятию суверенитета в российском и мировом политическом дискурсе; набросок собственной теории рационального поведения и очерк исторической поэтики в контексте филологической теории драмы. Сборник открывает обширное авторское введение: в нем ученый подводит итог всей своей деятельности в сфере теоретической политологии, которой Вадим Цымбурский, один из виднейших отечественных филологов-классиков, крупнейший в России специалист по гомеровскому эпосу, посвятил последние двадцать лет своей жизни и в которой он оставил свой яркий след.

© Цымбурский В. Л., 2011

© Европа, 2011

Содержание

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА	5
ВВЕДЕНИЕ SPEAK, MEMORY!	7
СЮЖЕТЫ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ РОССИИ	24
I	24
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Вадим Цымбурский

Конъюнктуры Земли и времени.

Геополитические и хронополитические интеллектуальные исследования

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Сборник статей под названием «Конъюнктуры Земли и Времени» был составлен самим автором за несколько месяцев до смерти. Вадим Цымбурский предполагал выпустить эту книгу в июне 2009 года: тексты, вошедшие в состав сборника, были им собраны и вычитаны, но для полноты авторского замысла не хватало двух статей, которые, по плану, должны были войти в книгу. Одна из них уже никогда не увидит свет – это статья «*Лев Гумилев или Освальд Шпенглер (к морфологии исторического хода России)*». В этой работе Цымбурский собирался подвергнуть основательной критике теорию этногенеза Льва Гумилева – задача, к которой автор приступал несколько раз, но которая так и не была реализована. Другая статья осталась в рукописи – она представлена в качестве введения к этой книге под названием «*Speak, Memory!*», в ней автор подводит итоги своей деятельности в области политической науки.

Для обозначения того, что пытался осуществить Цымбурский – по образованию и основному своему профессиональному призванию филолог-античник – в области общественных наук, лучше всего подходит термин «политическая критика». Под этим термином следует понимать не столько критику режима, анализ тех или иных действий власти, сколько критику самой социальной реальности в целях обнаружения определенного идеологического содержания, которое могло бы являться основанием для политического решения, для выбора одной из нескольких ценностных альтернатив.

Вадим Леонидович Цымбурский родился и прожил половину своей жизни в мире, где господствовала не просто одна идеология, но предельно идеологизированный взгляд на реальность, и он попытался принять участие в процессе интеллектуального реформирования советского общества. Он ясно сознавал свою функцию свободного интеллектуала в этом великом и подлинно амбициозном проекте – либерализации коммунистической идеократии. Однако гибель этого проекта, распад империи, задача предотвращения которого стала главным мотивом выхода Цымбурского в пространство журнальной публицистики в 1989–1990 годах, стали причиной снижения до минимума роли интеллектуала в обществе. Цымбурский бросил вызов этой страшной и убийственной для него реальности. Он пытался обнаружить исторический и даже сверхисторический смысл новой России и в то же время подготовить почву для новой экспансии «ценностей» в материально и духовно опустошенную страну.

Цымбурский получил известность прежде всего как автор геополитической модели «Острова Россия». Согласно этой теории Россия представлялась огромным пространством, окруженным с севера и востока просторами двух океанов, а с запада и юга – сухопутными территориями-проливами, отделяющими Россию от иных материковых плит – пространств цивилизаций. Интересно, что сам Цымбурский и по рождению, и отчасти по происхождению – плоть от плоти этих самых междивизицизионных земель.

Вадим Цымбурский родился 17 февраля 1957 года во Львове¹, куда после окончания войны был направлен на службу его дедушка Тимофей Ефимович Цымбурский.

¹ Сведения о жизни Вадима Цымбурского любезно предоставлены его мамой, Адель Тимофеевной.

В 1959 году во время «оздоровительной» поездки в Евпаторию он заболевает астмой на всю жизнь. Из-за плохого климата во Львове мать с Вадимом переезжают в Коммунарск (Алчевск) Ворошиловградской (Луганской) области, здесь Вадим пошел в первый класс. После окончания четвертого класса в связи с обострением астмы Вадиму приходится уехать в Гомель к бабушке, где он проучится в пятом и шестом классах.

В 1971 году Вадим Цымбурский с матерью переезжают в Могилев, где в 1975 году он экстерном оканчивает школу. В Могилеве, в Белоруссии, он много общается с поэтами, сам пишет стихи. В будущем Цымбурский всегда станет называть Белоруссию и Могилев своей малой родиной, а в графе «национальность» писать «белорус».

В 1976 году Цымбурский поступает в МГУ на отделение русского языка филологического факультета, а через полгода переводится на факультет классической филологии. Оканчивает МГУ он в 1981 году.

Дальнейший его послужной список внешне выглядит более чем скромно.

После окончания аспирантуры с 1986 по 1990 год он работает научным сотрудником в Институте США и Канады.

Диссертацию по гомерологии Цымбурский защищает в 1988-м. В 1994 году выходит в свет книга *«Гомер и история Восточного Средиземноморья»*, написанная им в соавторстве с Л. А. Гиндиным, ознаменовавшая собой целый этап в отечественной филологической науке.

С 1990 по 1995 год Цымбурский работает научным сотрудником в Институте востоковедения АН СССР.

С 1995 года является старшим научным сотрудником Института философии РАН. Докторскую диссертацию на степень доктора философских наук по теме *«Морфология российской геополитики»* подготовить и защитить он так и не успел.

За скромным перечнем должностей, которых в жизни Цымбурского было совсем немного, стоит его серьезная идейно-политическая эволюция со всеми ее переломными моментами, волнами надежд и разочарований и главное – упорная и трудная борьба со своей эпохой за право не стыдиться быть «россиянином» и быть «интеллектуалом». Вехи этой борьбы отражены в статьях данной книги, а более подробные сведения о политологическом творчестве ученого читателя могут найти в авторском введении.

ВВЕДЕНИЕ SPEAK, MEMORY!

*Слушай, слушай —
Бормочет он мне, —
В книге много прекраснейших
Мыслей и планов...*

Сергей Есенин

Успех моей предыдущей книги «Остров Россия» неизбежно обернется тем, что вторую книгу будут воспринимать на фоне «Острова». Эффект от сравнения этих книг, на мой взгляд, оказывается двояким. «Остров Россия» построением своих сквозных сюжетов приближается к монографии. «Конъюнктуры Земли и Времени» ближе к типу сборника. Часть вошедших в него текстов (особенно в разделах «Сюжеты не только для России» и «Голоса в контрапункте») сами по себе могут трактоваться как публицистика второго ряда по сравнению с текстами «Острова», как преломление идей и сюжетов первой книги в особых ракурсах (понятие геокультуры, хронополитика нефти, назревающее уже три десятилетия военное противостояние США с Ираном, использование «евразийства» как инструмента в политике России, переставшей быть «Россией-Евразией», и т. д.). Другие же работы, особенно в разделах «Игры суверенитета» и «Эзотерические постскрипты», существенно отступают от тематики «Острова», позволяя гораздо полнее оценить тот проект, который я представляю в российской политологии.

Внесенное в заглавие слово **конъюнктура** происходит от латинского глагола *conjungo*, «вступать в связь, в том числе в брачный союз, образовывать сочетание с чем-либо», – парадоксальным образом оно отсутствовало в античной латыни. Лишь новоевропейские языки вырабатывают идею конъюнктуры как сцепления факторов и обстоятельств, составляющих специфику того или иного качественно выделяемого отрезка времени. В этом смысле говорят о текущей экономической и политической конъюнктуре. Влияние французской исторической науки XX века (школы «Анналов») утвердило понятие о конъюнктурах разной длительности как посредствующем звене между структурой и событием: конъюнктуры предстают как сцепляющиеся тенденции в истории ментальностей, а также социальных, политических и хозяйственных структур, которые, в частности, делают определенную эпоху «плохим» или «хорошим» временем для тех или иных проектов или решений.

Конъюнктура должна быть определена как ключевое понятие хронополитики – исследовательской методики и технологии политического проектирования, исходящей из принципиальной неоднородности исторического времени, подобно тому как геополитика строит свои политически заряженные географические образы, отталкиваясь от неоднородности земных пространств. Я не вижу помех к тому, чтобы употреблять понятие конъюнктуры также и в области геополитики, говоря о тех конъюнктурах Земли, которые раскрываются в образности геополитических проектов и конфигурациях геостратегических раскладов. Надо лишь помнить о связи (20 лет назад сказали бы точнее и лучше – о диалектике) конъюнктур Земли и Времени, которая в разные моменты актуализирует, выпячивает в мировосприятии неких политиков одни географические построения и подавляет, затемняет возможность иных, осознаваемых на следующем историческом повороте. В этом аспекте геополитика страны может рассматриваться как своеобразная отрасль ее хронополитики, то есть политического осуществления во времени.

Большинство работ в этой книге близки к тому типу *интеллектуального исследования*, который с 2007 года насаждается «Русским журналом» с подачи Б. В. Межуева. Я расследую конъюнктуры Земли и Времени, стоящие за политическими замыслами, решениями и собы-

тиями, за подвижками политического языка. Я убежден, что подобное изучение роли конъюнктур есть лучшее противодействие конъюнктурщине – мышлению и поведению, ориентированному на сиюминутное текучее состояние среды (по образу той басенной амебы, которая сильно раздражается, пока ее раздражают – «оранжевым» Майданом, пятидневной войной, экономическим отливом или чем-либо еще, – но совершенно не способна к накоплению опыта, к использованию аналитической памяти как средства борьбы за *свою* конкретику будущего).

Отыщи всему начало – и ты многое поймешь». Но даже Козьма Прутков не сказал – «все поймешь». Хотя и отыщешь начало, а поймешь многое, но не все.

Две большие фазы моей жизни отложились в концепции этой книги. Первая фаза – работа в 1986–1990 годах в Лаборатории структурного анализа Института США и Канады. Филолога-классика, оказавшегося после аспирантуры без работы, взял в лабораторию по знакомству создавший ее В. М. Сергеев, курировал ее в ИСКАНе будущий член-корреспондент РАН и замминистра обороны А. А. Кокошин. Виктор Михайлович и Андрей Афанасьевич смогли найти в подобной структуре работу притулившемуся филологу по моим вкусам и привычкам. Я не только переводил и делал обзоры по структурам политического текста для двух подготовленных лабораторией блистательных сборников – «Язык и моделирование социального взаимодействия» (М., 1987) и «Когнитивные исследования за рубежом. Идеи и методы искусственного интеллекта в изучении политического мышления» (М., 1990). (В другие времена, по иной конъюнктуре, чем перестроечная, эти сборники стали бы эпохальными.) Меня усадили изучать движения актуальных политических понятий – таковыми на конец 80-х стали «военная победа» (как составная часть языка советской военной доктрины) и «суверенитет». А между тем, из-за многолетнего отсутствия в Москве Совета по классической филологии защита диссертации замедлилась. А в разгар перестройки засел я в «Ленинке», где по одну руку лежали «Хеттское царство» Ф. Шахермейера и его пятитомное «Раннее время Эгеиды», а по другую – труды американских теоретиков «ограниченной войны», закладывавших в 1950-х, возвращаясь к прототипу XVII века, эталон победы как сделки (с тех пор и пожизненно я преклоняюсь перед Г. Киссинджером).

Я отсылаю читателя к статье Б. Межуева «“Остров Россия”: место и время одной историсофской концепции», качественно применившего к моему политологическому пути технику гео- и хронополитического интеллектуального расследования и показавшего связь моей гомеровской топики и моих политических позиций в пору перестройки. Последние годы моей работы в ИСКАНе совпали с имевшей некоторый отклик серией соавторских выступлений трех филологов (Г. Ч. Гусейнова, Д. В. Драгунского и моих) на тему имперских судеб горбачевского СССР. Каждый из «трех филологов» вкладывал в нашу тогдашнюю позицию свой смысл (что и отразилось в разнице последующих судеб). Для меня значимо было понимание именно того, что выделяет Межуев: осознание идеи Демократического Севера в 1989–1991 годах как идеи имперской и убеждение насчет ее обреченности в случае демонтажа советского Центра. Большинство этих статей вышло в «Веке XX и мире» Г. О. Павловского. Туда же в начале 1991-го я принес мой первый единоличный текст. Павловский заменил тяжеловатое название чуть более легким «Бесом независимости» (через несколько лет недолговечный журнал «Социум» перепечатал статью, снабдив ее замечательными иллюстрациями).

Дикий визг «Долой империю!» в адрес Союза – участника нового, не успевающего затвердеть «мальтийского расклада»; стеб «возвращения в Европу» в месяцы, когда гигантский оползень что ни день отгораживал платформу России от коренной Европы, и между ними вставал и ширился пояс территорий с особой исторической памятью; а с 1992 года вдруг начинаются рассуждения насчет «распада России-СССР в результате поражения в холодной войне», небезуспешно пытающиеся угробить память о «мальтийском двухлетии», – опыт этих лет развел меня с массой современников в их фантомных болях и в моем переживании громадности вре-

менной и пространственной конъюнктуры до– и постимперской России, прорезывающейся из света второй, большевистской империи.

Второй фазой моей жизни, доопределившей идейную задачу этой книги, стало сотрудничество с журналом «Полис», когда им в качестве главного редактора рулил И. К. Пантин, придавший печатному изданию Института международного рабочего движения статус основного органа политологии – новой дисциплины для России. Как помнилось тогда, дисциплины для той не осознавшей себя эпохи. «Остров Россия» писался для тогдашнего «Полиса», и я не представляю, чтобы в 1993 году мог помыслить его появление в каком-либо ином журнале. До рубежа веков «Полис», несомненно, оставался лучшим политологическим журналом «России», лишь с 1997 года его теснит *Pro et contra* М. П. Павловой-Сильванской, к которому первенство переходит в 2000–2003 годах. Великая основательная заявка пантинского «Полиса» (как ярко тогда звучали многие имена, которые ныне скучно и произносить, и слышать!) влилась в тогдашний роскошный «хор заявок»: тут и сборник «Иное» С. Б. Чернышова, многими воспринятый как движенческая антология, чем ни в коем случае он не был, или как всплеск волны, которая тогда вместе поднимала людей, друг друга не знавших и знать не желавших; и сессии Интерцентра Т. Шанина – Т. Заславской; и впервые раскрываемые «Колокола истории» А. И. Фурсова; «Слепое пятно» и «Вместо России» Павловского; и экзотический треск дугинской темы, при всей девиантности своей давшей видеть молодежи, что можно попытаться не пристраиваться бочком к краешку «стола сытых и богатых» и в то же время не полагать себя за шлак мира сего, – давшей повесть о факторе контрэлиты.

Это было состояние умов, которое держало мою достаточно уединенную работу на ходу, пока к концу нулевых годов мною не была наработана собственная энергетика, позволившая несколько очень сложных лет работать в изменившихся обстоятельствах (дополняемых личной конъюнктурой 2001–2007 годов) – в пространстве, для меня все более разреженном, если не сказать безвоздушном.

В «Конъюнктурах Земли и Времени» представлены те же важнейшие хронополитические сюжеты, что известны читателю по предыдущей книге (М. В. Ремизов их остроумно назвал «компонентами мифа “острова России”»):

- сменяемость в имперской истории России последовательных циклов, состоящих из последовательности фаз: каждая предлагает особую парадигму отношений между Россией и «остальным человечеством» романо-германского Запада, отталкивающегося от вопроса: может ли, и если да, то как может быть «европейской державой» государство с историческими центрами, лежащими вне европейского полуострова, религиозно и этнически инородное «коренной Европе»; эта смена фаз и циклов осмысливается через метафору – континентальный «остров», пытающийся изжить свое островитянство;

- схема сверхдлинных военных циклов Запада, зарождающихся в XIV веке, имеющих 150-летнюю длительность и определяющих историю геополитической системы Запада начиная с первичной континентально-европейской биполярности Франции и Священной Римской империи и до становления к концу XX века системы *the West against the Rest*; предпосылкой такого перерастания становится притяжение России с XVIII века к европейской системе, а переходной стадией от европейской биполярности к конфигурации *the West against the Rest* оказывается ялтинская система. Евро-Атлантика осталась сплоченной вокруг западного заатлантического центра, а место восточного центра занимает внешний противник;

- тезис о геостратегическом двоеритмии имперской России, которая в одном из ритмов выступает как элемент системы Запада, а в других – как часть бинарной системы цивилизаций «Европа – Россия»; это стратегическое двоеритмие я предлагаю рассматривать как модель цивилизационных отношений между Евро-Атлантикой и Россией, которая с XVIII века выступает в положении «цивилизации-спутника»;

- попытка распространить понятие «двоеритмия» на другие аспекты хронополитики России (прежде всего социально-политические, далее – культурные). Я пытаюсь рассмотреть то, что остается от российской хронополитики, если отвлечься от эффектов европеизации XVIII – начала XIX века и модернизации XIX – начала XXI века. Я склоняюсь к мысли, что при этом условии мы обнаруживаем в российской истории признаки имманентного развития цивилизации от аграрно-сословной фазы (XII – первая половина XIX века) к фазе городской через эпоху городской революции, отмеченную попыткой пересмотра сакральной вертикали и борьбой реформационных и контрреформационных волн (вторая половина XIX–XX век).

Как уже сказано, это позиции, принципиально перешедшие из «Острова России» в «Конъюнктуры Земли и Времени» и выступающие как опоры для разработки новых тем. Из этих тем видно то принципиальное, что я пытаюсь внести в российскую геополитику. Я рассматриваю ее как часть хронополитической доктрины, со сжатием России в конце XX века, с подъемом большевистского реформационно-имперского проекта и отказа России изображать антагонистическое всемирное «иное» в отношениях с консолидирующимся Западом. Главное же – это сжатие, похоже, конец российского стратегического двоеритмия, мотивированного упомянутым вопросом о возможности неевропейской и ни в коем смысле не относящейся к Западу страны быть «европейской державой». Наступающий век с определяющей конфигурацией «острова Россия» требует от ее правителей нового геополитического такта, минимизации негативных возмущений извне на решающей стадии становления городской России, в гармонизированных отношениях русского города с землей (после страшного торжества над деревней в XX веке). Стремиться к тому, чтобы городская Россия успела оформиться и предстать к моменту, когда закат нынешнего мирового порядка поставит русских перед проблемами, сейчас лишь отчасти вообразимыми.

Я могу показать, как за 15 лет, прошедших с выхода статьи «Остров Россия», этот геополитический паттерн неоднократно подвергался в моих работах тактическому доосмыслению. В 1993–1995 годах хаотическое состояние Восточной (якобы Средней, или Центральной) Европы между платформами России и объединенного Запада вместе с неизжитыми фантазмами «возвращения в Европу» заставило акцентировать статус этих клокотавших территорий-проливов (проливов не между морями, а между великими геополитическими платформами). В эту пору я прихожу в одной статье к роду цивилизационного психоанализа, обнаруживая невротический характер европохитительских циклов, бредовые образования в текстах российских геополитических мыслителей вроде тезиса Дугина: существовать и отстаивать свою самостоятельность можно только в лучах объединения европейского пространства и выстраивания «другой Европы – России будущего», где историческая Россия была бы сведена до забытой периферии.

С 1995 года попытки самоорганизации бывших территорий нашей империи России (балто-черноморские проекты ГУ(У)АМ) побуждают меня рассматривать восточноевропейские территории-проливы как часть структурной целостности огромного пояса земель, пролегающего ныне между ядровой Россией и массивными цивилизационными и геостратегическими платформами незамерзающих океанов. В диалоге с молодым воронежским геополитиком С. В. Хатунцевым я развивал концепцию межцивилизационного Великого Лимитрофа², звучание которой, первоначально чуждое всякого антизападничества, меняется с обозначающейся спиралью евроатлантических структур на этих землях (в «Конъюнктурах Земли» этот переход виден очень хорошо, если сравнивать сюжет статьи «“Остров Россия” за семь лет» с такими позднейшими работами, как «Дагестан, Великий Лимитроф, мировой порядок» или «Россия в противостоянии США и Ирана»).

² Лимитроф – пограничная полоса между цивилизациями, цивилизационное приграничье.

Год 2008-й пятидневной войной и заявлениями российских лидеров о наличии территорий за пределами России, представляющих для нее особую значимость, стал для меня намеком на возможность следующего доосмысления концепции, с особым упором на выдвинутое еще в 1994 году понятие «шельфа острова Россия». Этот шельф видится как области на Лимитрофе, в том числе за государственной российской границей, состоящие с Россией в особой, требующей признания и учета физико-географической, культурно-географической, экономической и стратегической связи. Мировой кризис отдалил актуальность подобного пересмотра концепции, который остается в резерве.

Я должен со всей ответственностью подчеркнуть, что «Остров Россия» прозвучит не зовом боевого изоляционизма, как «Крепость Россия» М. Юрьева. Это была модель, выведенная мною для осмысления ряда духовных и политических коллизий, пережитых в XVIII–XX веках сообществом по эту сторону Лимитрофа – сообществом, которое до того, в XV–XVII веках, осознало себя как Основное человечество и тем определило последующие свои судьбы. Какое-то время я склонен был полагать, что ослабление внешнего давления на Россию с восстановлением островного паттерна может способствовать оформлению паразитарной и своекорыстной псевдоэлиты: «фронды» в шпенглеровском смысле – слоя, склонного к преобразованию надсословного государства в орган узкосословного властвования. Подобные опасения, сказавшиеся уже в «Острове Россия» за семь лет» мотивом «окаянных десятилетий», сблизил меня в нулевых годах с оппозицией. Были ли эти мысли правомерными, покажут те испытания, которые через годы в обозримое время предстоит пройти наследию³искренних «людей 1991 года».

Открытие сверхдлинных милитаристских циклов Запада возникло из искановских разработок истории мутаций понятия победы. По итогам этой работы у нас с Сергеевым вышла статья, показавшая, что преобразование в трактовке «победы» на Западе в конце XVIII и в середине XX века и становление эталонов «победы как уничтожения противника» в первом случае и «победы как успешной сделки» во втором были связаны с изменениями в фундаментальном балансе военных и иных возможностей с подвижками в сторону господства вначале возможностей мобилизации, а затем – средств уничтожения.

В 1996 году я делаю следующий шаг и показываю, что та же 150-летняя (в пять поколений политиков и военных лидеров) милитаристская волна, которая находится под знаком «уничтожения» или «мобилизации», отличает историю Запада со времен Столетней войны, и именно эта циклическая инверсия волн двух типов скрывается за сменой милитаристских стилей Евро-Атлантики, описанной в начале 1940-х замечательным американским историком Кв. Райтом. Еще через два года в статье «Европа – Россия: третья осень системы цивилизаций» я показываю, что тот же милитаристский ритм определяет трансформацию геостратегической системы Запада – до вырастания ее в систему мировую.

Я никогда не принимал расхожей хронополитической теории, воспроизведенной множеством авторов, отождествляющих старую динамику Запада со становлением евроатлантического капитализма, с чередой морских торговых и финансовых империй, где Британской империи и США предшествуют Венеция, Португалия (иногда Генуя) и, наконец, Нидерланды XVII века. Эта повесть о чемпионах модерна, представляющих «дух морей», дополняется фигурами противников, тщетно пытающихся накачать мускулы, тягаться с морскими державами: Франция против Голландии и Англии, Германия, опять же, против Англии, СССР против США. В конце 90-х такая историософия предрекает надлом США и восхождение как мирового лидера Японии и объединенной Европы. Лишь немногие историки капитализма (среди них А. И. Фурсов) сознают, что совпадение экономического первенства с геостратегическим лидерством на

³ Два последних слова в рукописи были написаны неразборчиво. – Прим. ред.

европейском континенте – явление позднее. Венеция конца XVI века стала добычей сговорившихся Франции и Священной Римской империи, Португалию проглотила Испания Габсбургов, Нидерланды устояли перед натиском Людовика XIV лишь потому, что на защиту их встала огромная европейская коалиция во главе с венским кесарем.

Саге о поставщиках модернизации и их дорожке к мировому господству я противопоставляю историю о древней биполярности Запада в виде «Франция vs Священная Римская империя», о том, как в данном противоборстве эти сверхдержавы «изнашиваются» и их роль переходит сначала к евразийским центрам, но уже обитающим за пределами древней «Европы Карла Великого», – в Лондон и Берлин. Как слабеющая Австрия привлекает себе в поддержку из евразийской глубины Россию. Последняя, осознавая свою миссию в Европе, со сменой поддерживаемого ею восточного центра новым, берлинским, вступает с ним в борьбу за роль – за австрийское наследство. И в этой борьбе, вопреки неизменным ламентациям А. Г. Дугина, а также Е. Ф. Морозова (и иных евразийствующих германофилов), неизбежно становится в деле сдерживания размаха Германии союзницей держав западно-атлантического центра. Как в этих битвах западный центр мощи отодвигается за океан (впервые на какое-то время вполне отождествившись с центром мирохозяйственным), а роль восточного центра переходит к СССР, так что на место органической части собственного расклада западного сообщества последнему предстоит расположенный за его пределами, но грозно нависший над ним внешний враг, *грозящее* «иное». Так продолжается, пока на волне великого нисходящего тренда, дискредитирующего, по Валлерстайну, идею «модернизации для всех», Россия сбрасывает на лидеров Запада ответственность за судьбы мироустройства (изживая большевизм) за счет отката за Великий Лимитроф и отказывается представлять социалистическую версию мировой «геокультуры развития».

Мощь США с их географическим положением между Атлантическим и Тихим океанами выполняет такую роль в организации нынешнего мира, которую не смогли бы перенять ни Япония, ни Китай, ни знакомая нам, привыкшая к американской защите объединенная Европа. Как показала бы себя эта Европа, если бы ей довелось взять на себя самооборону, не говоря уже о более масштабной всемирно-геостратегической ответственности? Пока что этот вариант с «новоосвободившейся» Европой не очень-то представим.

В сегодняшнем мире могут быть одновременно прочитываемы два глобальных расклада. Одна конфигурация – «Запад (США и ориентированные на них международные структуры) против Ислама» – отражает инерцию развития ялтинского мира из европейской биполярности. На роль Иного пока что способны произвольно выдвигаться самые разные силы, в тот или иной момент опознаваемые как недруги «миродержца»; особенно те, которые сами пытаются эксплуатировать статус «антисистемности». Второй паттерн ялтинского мира, не кажущийся простой перестройкой последнего, – это «*полутораполярный*» мир с единым «державным» лидером, у которого нет пока соперника или коалиции соперников, способных отстоять и утвердить альтернативный проект, но где господство глобального центра с его всеевропейским сателлитом ограничивается наличием ряда крупных региональных центров, связывающих его возможности в соответствующих ареалах.

В нулевых годах США прилагали серьезные усилия к тому, чтобы, «подрывая» неугодные им локальные центры, сместить баланс полутораполярного мира к откровенной униполярности. Удары с их стороны по местным центрам (Ирак) содействовали региональной и мировой хаотизации: возникают парадоксальные обстоятельства, когда лидер и оплот порядка представляет для этого порядка серьезнейшую угрозу.

Едва ли по результатам нынешнего экономического кризиса мы обретем какие-то иные мировые перспективы, особенно в смысле прихода столь любезной многим российским геополитикам «многополярности». Пока что динамика валют победно утверждает роль доллара как валюты главенствующей и управляющей. Вставшая перед президентом Обамой задача

спасения белого рабочего класса Америки не позволит новой вашингтонской власти всерьез поступиться оборонными заказами. О несомненном подспудном оптимизме «американского обкома» говорит появившийся в конце ноября 2008 года доклад Национального совета по разведке, посвященный стратегии на 20–30-е годы и предполагающий, в частности, развитие сети образовательных центров на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. Я полагаю, что по итогам кризиса нас ждет новая попытка утверждения откровенной *Pax Americana* – и для локальных субцентров полутораполярного расклада задача будет состоять в том, чтобы локализовать и фрустрировать эту попытку, вместе с тем признавая незаменимость США в том мире, с которым мы имеем дело. Пока мы можем баловать себя идеей глобального краха Америки, не отдавая себе отчета в той реальной многополярности, которая могла бы (и должна была бы) предстать нам после изнашивания и надлома *Pax Americana*, когда Россия в северо-востоке Азии оказывалась бы наедине с Китаем и Японией, а Объединенная Европа перед исламским накатом рисковала бы оказаться в глубочайшей зависимости от Турции как своего барьера и защитницы. Параметры полутораполярного мира, поле Великого Лимитрофа и атомное оружие – три опоры безопасности «острова Россия» в век, когда наша цивилизация вошла в решительную фазу своей городской революции – фазу, по итогам которой определится образ России на много столетий.

В мире, колеблющемся между (поддерживающими друг друга в каком-то смысле) хаотизацией и разрушительными притязаниями гегемона, Россия не может брать на себя глобальной ответственности, но лишь ответственность за себя и за тех, кто, по ее согласию, отождествляет себя с ней. Оставаясь в стороне от импровизируемых охватом «Запад против иного», Россия, избегая участи быть принесенной по рецептам 3. Бжезинского в заместительную жертву за «американский мир», должна быть привержена полутораполярному раскладу как своему временному резерву, отдавая себе отчет в неотменяемости тех факторов, которые где-то впереди, вероятно уже в нынешнем веке, положат ему конец. Не давать США подрывать местные мировые подпорки так же важно, как и добиваться того, чтобы Америка до времени не упустила своей основной части планетарной конструкции – не уклонилась от по сути безблагодатной роли глобального «удерживающего» (катехонта). Короче говоря, надо, чтобы мир не представил жизненных угроз России, пока она не пройдет нынешнюю критическую стадию в своем шпенглеровском цикле.

Меньше всего понимания у моих оппонентов нашла именно та часть моей работы, что связана с идеей шпенглеровского цикла в истории России. Впервые в моих работах фамилия Шпенглера появляется в связи с топосом «России-острова», многообразно и парадоксально проступающим в русской культуре на разных ее этапах наподобие *шпенглеровского «прафеномена»*. В то же время попытка распространить гипотезу российского двоеритмия за рамки геополитики и геостратегии предполагала наличие у России за экзогенным ритмом реформ, контрреформ и застоев также и собственного ритма, особого исторического времени.

В этой герменевтической попытке усмотрения времени России, раскрывающегося в череде ее социальных, политических и культурных форм, малопродуктивной оказывалась как вызово-ответная цивилизационная хронополитика, так и «энергетическая» модель российского этногенеза по Гумилеву. Я никогда не понимал, почему Тойнби, расписывая по схеме Вызовов и Ответов историю своих цивилизаций, не хотел замечать, что по той же логике можно представить историю самых разных сообществ заведомо меньшего уровня, чем цивилизации (скажем, рождение американской, немецкой и итальянской наций в XVIII–XX веках) и даже нации (например, становление разнообразных групп русского народа). При том что Тойнби крайне расплывчато определил цивилизации, набросав в одну кучу массу империй, религиозных общин и культурных кругов, он лично обнаружил в их судьбе те или иные вызово-ответные казусы; подобные обстоятельства можно найти в истории любых человеческих объединений.

С другой стороны, модель Гумилева неудовлетворительна для моих целей по другим причинам: постулируя огромный всплеск энергии в начале своих этногенетических волн и постепенное, но неуклонное понижение энергетических уровней в истории рассматриваемых сообществ, Гумилев оказывался не в состоянии объяснить многофазовые цивилизационные амплитуды с неоднократными всплесками религиозной, военной, колонизаторской энергетики в истории признаваемых им суперэтносов. В некоторых случаях он постулировал тогда дополнительные пассионарные толчки, заявляя о появлении под старым именем нового народа (как в истории египетского Нового царства). Другие же случаи у него остались необъясненными: так, историю Запада он предпочитает закончить на XVIII столетии, игнорируя чудовищную последующую полуторавековую волну революций и мировых войн. Что касается России, то трактовка советской эпохи как поры потребления и надлома, к которой Гумилев пришел под впечатлением последних лет жизни, меня не удовлетворяла. Она не учитывала той гигантской человеческой энергетики, которая характеризовала Россию-СССР на протяжении большей части XX века, оказавшись необходимой для успешного второго издания империи «русского» Третьего рейха, ядерных и космических успехов и становления Москвы как одного из центров планетарной системы *the West against the Rest*. Гумилев оказывался так же бесплоден, как Тойнби, но по другим причинам.

Напротив, черты шпенглеровского цикла отчетливо проступили из-за вызово-ответного ритма России имперских столетий. Напомню здесь, что это за цикл, поскольку в дискуссиях последних лет мне приходилось сталкиваться с ошеломительным непониманием языка, на котором я пытался вести разговор.

Шпенглеровский цикл – это идеальный тип хронополитической амплитуды, описанный в основном во II томе «Заката Европы» и на протяжении последних 5000 лет реализовывавшийся на разной экономической, технологической и социальной базе. Переживавшие его сообщества, рассматривавшиеся Шпенглером как «высокие», или «мировые», культуры, вполне подходят под мое понимание цивилизации (особая Основная земля, особое Основное человечество, особая сакральная вертикаль, соотносящая геополитический и жизненный уклады этой земли и этого человечества с последними целями и перспективами человеческого рода), охватывающее также и Россию. Этот цикл составляют: аграрно-сословная фаза с первично оформленной сакральной вертикалью и идеей Основного человечества, с центрами культурной жизни при дворах крупных землевладельцев; сменяющая ее эпоха перехода этих центров в города и «городской революции» с оформлением надсословного государства, поддерживаемого городским слоем, способным трансформировать городской политический класс (античный демос, европейскую буржуазию), – городская революция обычно оформляется революцией религиозной, начиная с реформационного обновления сакральной вертикали, сообразной с жизненными устремлениями горожанина; борьба реформационной и контрреформационной волн (открытие последнего конфликта как одной из универсалий шпенглеровского цикла я ставлю себе в заслугу); эта борьба перекрывается со сложным взаимодействием государства, городского класса и усилий верхушечной «фронды», пытающейся превратить надсословное государство в орган узкосословного властвования. Следующий за городской революцией период (баланс города и земли) в рамках шпенглеровского цикла предстает как обретенная классическая форма данной мир-культуры, за которой идет пора вырастания гигантских космополисов и эксплуатируемых ими мировых империй, массовых обществ с пережитками крипто-тиранического вождизма и силовых переделов мира.

Таков идеальный тип шпенглеровского цикла, проступающий в вариациях истории ряда сообществ. Причины возникновения сообществ, осуществивших разные аранжировки этой великой партитуры, мы не знаем. Полагаться на космические пассионарные толчки в манере Гумилева бесполезно – во многих случаях, где он усматривал такие толчки, возникает что-то вовсе не похожее в своей истории на мир-культуры, не говоря уже о том, что понятие «пас-

сионарного начала» – лишь предположительное название для некоего рода явлений, а не их обобщение.

Принципиально я в общем принимаю формулу Б. В. Межуева о рождении цивилизаций из закреплённой на протяжении нескольких столетий решимости элит сообщества быть цивилизацией – то есть Основным Народом на Основной Земле. Вместо гумилевских lamentаций насчет понижения пассионарности и смены века д'Артаньяна веком Бюваров и Пекюше, вместо тойнбианского моралите по поводу дискредитации и надлома элит, не способных ответить на некий очередной встающий перед ними вызов, мы получаем ряд рассказов о высоких неудачах титанических попыток некоторых сообществ предстать в своей социальности, культуре и геополитике в качестве «всечеловечества».

Этой отвагой – быть Основным человечеством – обладали элиты Москвы XV–XVI веков, поддержанные частью элит древних Новгорода и Пскова, отвагой, обретшей новое дыхание с продвижением в Сибирь, с одолением лимитрофных стихий, захлестнувших страну в Смутное время, с трансформацией в XVII веке первоначального образа Третьего Рима как островной суши среди потопа в новую концепцию восстановления «потонувшего» мира. Наш аналог европейскому высокому феодализму XVIII – первой половины XIX века связан не с возникновением из служилых «государевых людей» «благородного сословия», но с путями усадебной культуры. Наша городская революция разворачивается с середины XIX века, обретая идеологическое (полурелигиозное) и политическое увенчание в большевистской Реформации нашей империи. Как я уже писал в других местах, большевики преуспели в том, что не получилось у европейских протестантов в XVI–XVII веках, – на время воссоздать распадавшуюся христианскую империю под новой сакральной вертикалью, утверждающей культурное и политическое превосходство города с его складывающимся протобюргерством. XXI век – время новой контрреформационной волны («второе крещение Руси»), верхняя фаза городской революции, возможность становления городского политического класса и военное напряжение между национальным государством и заявляющей свои притязания Фрондой. Вместе с исчерпанием в мире *the West against the Rest* геостратегического двоеритмия России, опиравшегося на внутреннее разделение Евро-Атлантики, на противоборство ее западного и восточного центров в спорах за гегемонию, это цивилизационное двоеритмие сохраняется из-за погруженности «острова Россия» с отдельным цивилизационным движением по типу шпенглеровского цикла в «мировую империю внутреннего Запада» с ее хронополитикой, геоэкономикой и геостратегией. В частности, это двоеритмие сохраняется в напряжении между национальной культурой российского города и культурой «городов-порталов», представляющей «мировую» цивилизацию в ее, по Шпенглеру, «осенней» фазе на российской земле.

Повторяю, изложение концепции в этой части наталкивается на непонимание с разных сторон. Информационный шум ничтожества, голосащего, что Шпенглер слово *цивилизация* понимал совсем иначе (как будто важно, что он звал цивилизацией – да хоть бы любимую собачку, а не то, что он разрабатывал теорию группы объектов, сегодня носящих имя «цивилизаций»), я оставляю в стороне, также как и встречающуюся сплошь и рядом глупость, что США – это, конечно же, не совсем та же цивилизация, что и Европа, и так далее.

Самым серьезным возражением звучит тезис об абсолютной уникальности западного капитализма Нового и Новейшего времени и выстроенного им мира, распространяемый далее и на всю его предысторию («никогда не было такого города, как в Европе», «нигде не было и такого феодализма, как в Европе» и так далее вплоть до фантастических предположений в том духе, что «ни феодализма, ни города – вообще ничего, что было в Европе, по-настоящему искать, кроме как в ней самой, негде»). Вывод из этих замечаний бывает тот, что, может быть, хронополитические схемы вроде шпенглеровских циклов обнаруживаются в истории иных (традиционных) обществ, но к современному Западу и к России как части «объединенного мира» они никакого отношения иметь не могут. При этом не учитывается, что шпенглеров-

ский цикл был выстроен именно на основе истории Запада, представляя попытку так обобщить судьбу этого сообщества от эпохи ранних Капетингов, саксонских императоров, и клюнийского монашества, чтобы под выделенный идеальный тип мир-культурного цикла могли быть подведены (в духе макс-веберовской трактовки отношений между реальными и идеальными типами) по особым подстановочно аранжированным правилам также и истории других мир-культурных сообществ.

Обсуждая в категориях этого цикла стадийные подвижки в российской истории, я постоянно сталкиваюсь с одним и тем же недоразумением: когда указываешь к этим подвижкам аналоги в истории иных цивилизаций, кроме западной, звучит отклик: «Все это интересно! Но все это так далеко от нас!». Когда же проводишь параллели с историей Запада, это воспринимается как мысль об особом российском варианте прохождения евроатлантической эволюции (вроде «большевизм решил в России проблему модернизации, решенную на Западе протестантизмом»). Отсюда и спектр реакций. На одном краю: «Почему это думают, что наша история это вариант западного пути?

А может, путь у нас совсем специфический?». На другом: «Реформация родила индивидуальность, большевики же насаждали коллективизм. Как тут можно сравнивать?».

Особенно трудно говорить с людьми, у которых эти недоумения вписываются в экуменическую историософию, дополняемую познанием промыслов мирового духа. Говорят: «Какой же тогда <прок> в существовании России, если в XX и XXI веках она решает задачи, которые человечество решало полутысячелетием раньше?». Ты говоришь им, что в таком случае их человечество отстало от Китая на 2000 лет, а от Египта чуть ли не на 3500, и слышишь: «О, это все не то! Там не было религии откровения о свободе; а еще там не было европейского феодализма и городов с магдебургским правом». На этом разговор заходит в дурные зыбучие пески.

Несомненно, что мир-культура Запада отмечена массой особенностей, позволивших ей охватить своей геоэкономической империей земной шар. Тем не менее у нас нет пока возможности решить: сделало ли это обстоятельство судьбу новообразованной всемирной цивилизации несопоставимой с исторической морфологией великих локальных цивилизаций – или речь идет о разыгрывании на мировой сцене варианта тех же фабул, что игрались на сценах локальных. Шпенглеровский цикл видится мне инструментом сравнения их фабул, а не приравнивания. При этом схватывается любопытное цивилизационное двоеритмие России, которая разворачивает сюжет, описываемый фабулой шпенглеровского цикла, будучи геополитически и геоэкономически заключена в систему мировой конструкции Запада (как здесь опять не вспомнить Шпенглера, показавшего, как арабо-византийская цивилизация Ближнего Востока проходила свою первую стадию в политической системе позднеантичной Римской империи).

Несомненно, что в рамках этого цикла Россия пребывает на стадии, соответствующей раннему европейскому модерну XVI–XVII веков. Но в признании этого положения – исток моей дискуссии с М. В. Ремизовым: следует ли понятие модернизации применять к собственному ходу России и ее строительству капитализма в одной стране, в то время как мировая программа «модернизации для всех» мировыми лидерами отложена «под сукно», и исследователи спорят о характеристиках становящегося постмодерна, о «новой мировой сословности». Или сохранить понятие модернизации за экзогенной составляющей российского ритма – за вызово-ответной адаптацией к мировой конструкции? Или говорить об автономной модернизации России, что, на мой взгляд, так же странно, как толковать о модернизации древних Афин при власти Писистрата и Клизфена или об исламской модернизации Ближнего Востока в VIII–IX веках при распространении здесь этой религии. Первый вариант мне кажется более приемлемым.

Особую многолетнюю тему внутри разрабатываемых мною проектов составили исследования проблем суверенитета как проблем гео– и хронополитических. Так возник раздел *«Игры*

суверенитета» – своеобразная книга в книге, предметными узлами которой явились оригинальные вариации «парада суверенитетов» конца 80-х и первой половины 90-х; жесткое контрнаступление московского Центра в начале нулевых годов на обозначившиеся местные суверенитеты, отвергающее их легитимность; «оранжевые революции», происходившие на Великом Лимитрофе под лозунгами «народного суверенитета», как геополитическая технология замыкания этих пространств на центры Запада, и, как реакция на эту технологию, – формула «суверенной демократии» в аранжировке российских правительственных идеологов.

В том же разделе обнаруживаем анализ понятийной структуры «суверенитета», границ осмысленности и применимости этого концепта – одно из моих искановских заданий (вылившийся в статью «Понятие суверенитета и распад Советского Союза»), – который схлестнулся с жесткой критикой «парада суверенитетов» как исторической диверсии против программы Демократического Севера (статья «Бес независимости»). Я стремился выяснить две вещи. Во-первых, что, собственно, нового, дополнительного вносит «суверенитет» в базисную, субстанциональную для него идею власти. Во-вторых, почему это понятие, не представлявшее серьезного интереса ни для российских самодержцев, ни для теоретиков самодержавия, обрело исключительную роль в российском политическом словаре XX века – начиная с попытки большевиков конституционно оформить СССР как суверенное государство, состоящее из суверенных же государств, до использования этого понятия в демонтаже СССР и в реорганизации государственного устройства России.

Я прихожу к мысли, что для решения этих проблем не релевантны те основные русла, в которых до сих пор протекали *Souverenitetstudien*, – ни доставшаяся от раннего европейского модерна феноменология «суверена и противостоящего ему общества», ни карл-шмиттовская линия разысканий некоего «места суверена в государственной системе» (под знаком вопроса «Кто в лесу хозяин?» и «За кем право объявлять чрезвычайное положение?» дополняемые изысканиями на тему, как люди, не имеющие права на судьбоносные решения, получают свою долю власти, косвенно воздействуя на суверена, из-за чего карл-шмиттовская традиция заводит *Souverenitetstudien* в безнадежные зыбучие пески).

Классическое, от Ж. Бодена, определение внутреннего суверенитета как верховной власти, пребывающей выше закона в силу своей способности полагать и пересматривать сам закон, на самом деле охватывает все виды верховной власти (например, китайских и византийских императоров, римских пап), с которыми понятие «суверенитет», как правило, не связывается. Достаточно сказать, что это определение совершенно точно описывает позицию неюридической, надзаконной самодержавной власти в реконструкции Русской Системы А. И. Фурсова – Ю. С. Пивоварова. Суверенитет – средневековое европейское понятие, обозначавшее права феодала (в том числе короля) на подвластную ему территорию, – обретает смысл локальной абсолютной власти XVI века в обстановке смены идеи общеевропейской христианской империи. Оно становится обозначением власти как политической собственности – будь то абсолютистская монархия или власть местного князя, как в Германии (и Италии). Таким образом, в своем раннемодерном переосмыслении идея «суверенитета» полагала местную власть как политическую собственность на фоне мира, этой власти не подлежащего, но ее признающего как достояние местного политического собственника, члена сообщества полноценных (хоть отнюдь не равных по размеру могущества) политических собственников-суверенов. Здесь ключ к структуре понятия «суверенитет»: оно предстает нам как семантический двучлен, где факт власти выступает вместе с ее внешним признанием. На фоне долгого и, на мой взгляд, дурного спора юристов и политических писателей о том, каким должен быть «истинный суверенитет» – «суверенитетом факта» или суверенитетом, опирающимся на международное признание, геополитический реалист должен исходить из того, что оба вида суверенитета представляют геополитические реальности, реализующиеся в различных мировых условиях.

Отсюда проистекали два следствия. Во-первых, тезис о соотношении каждого суверенитета с некой «структурой признания», или «структурой согласия». Во-вторых, тезис о возможности как более широких, так и более слабых структур признания (скажем, для Абхазии структура признания состоит из России и Никарагуа, а для республики Северного Кипра – из Турции), а также большего или меньшего объема «неотъемлемых прав», закрепленных в той или иной структуре признания за входящими в нее политическими собственниками. На этой основе я предлагаю решить давнюю контроверзу «суверенитета» и «федерализма». Федерализм я считаю возможным рассматривать как особый, весьма специфический род структур признания, обычно с одним сверхзначимым членом – федеральным Центром, задающим распределение внутри себя неотъемлемых прав.

Эта концепция, выработанная мною в статьях 1992–1993 годов, получает развитие в двух моих больших работах последнего десятилетия «Северная Осетия в первой половине 90-х: попытка государственности» (2002) и «Игры суверенитета: новый возраст России» (2008–2009).

Первая – рассказ о неудавшемся проекте осетинской государственности, начинавшемся в первой половине 90-х в контексте уже становившейся региональной северо-кавказской структуры признания. В условиях неопределенности тогдашней Москвы на Кавказе в первый год существования постсоюзной России и развернувшегося восстания грузинских автономий против этой малой империи структурообразующая роль переходит здесь к союзу легитимных республиканских и областных руководств. Противостоя кавказским революционным проектам радикалов из Конфедерации народов Кавказа, поддерживаемых чеченским режимом Дудаева, этот местный «Священный союз» по своей федералистской природе негативно относился к национально-унитаристским устремлениям сменявшихся тбилисских правительств, благосклонно относясь к втягиванию автономий Грузии в свою структуру признания как политических субъектов с собственными неотъемлемыми правами. Особая роль в этом союзе принадлежала северо-осетинскому правительству А. Галазова. Вынужденное в 1992 году защищать Владикавказ и Пригородный район республики от ингушских притязаний на «возвращение родины» и создающее в этих целях республиканские вооруженные силы, галазовское руководство в геополитике северо-кавказского региона занимает ультралегитимистскую позицию, выступая против ревизии регионального политического порядка, в частности против «ингушской угрозы», от имени провозглашаемой интеграционной гражданской общности «народа Северной Осетии». А вместе с тем революционное движение осетин к югу от Главного Кавказского хребта, пытаясь силой выломиться из грузинского пространства, создает перед руководством Владикавказа в первый постсоюзный год соблазн: за счет патронажа над «младшим братом» обрести дополнительный международный статус, выступая и лидерами «многонационального народа Северной Осетии», и одновременно – строителями национальной осетинской «государственности Главного Кавказского хребта», охватывающей земли по обе его стороны и глубоко вклинивающейся в Закавказье. Сложность состояла в том, что эту задачу в условиях особой уязвимости предстояло решать, не взывая ни к северокавказским, ни к общероссийским федеративным структурам признания, прирастая внутри этих структур в фантастически полусамодовлеющее государство на границе России с собственными международными полями, принимаемое как партнер (пусть партнер меньший) Москвой и Тбилиси.

В статье 2002 года я обсуждаю причину признания этого проекта. Эмпирически – это стремление Москвы перед началом чеченского кризиса договориться с режимом Шеварднадзе о консенсусе двух причерноморских «империй», о моральной поддержке «тбилисским лисом» российского наступления в Чечне в обмен на утвержденную неприкосновенность Грузии. Абхазский и югоосетинский вопросы были оставлены на волю Божию, как опухоль, лечимая присказкой «Авось рассосется!». Североосетинские вооруженные силы были распущены в 2000 году, когда они попали под наезд Конституционного суда РФ в числе других образова-

ний, незаконно присвоивших себе суверенность, а бесланская драма 2004 года стала эпилогом осетинского проекта. Сегодня та статья 2002 года, которая демонстрировала мой подход к проблеме суверенитетов, зарождающихся, поднимающихся и рушащихся в рамках геополитики Великого Лимитрофа, предстает своего рода предысторией «пятидневной войны» – предысторией, объясняющей, почему в этой войне на земле Южной Осетии транскавказский осетинский фактор оказался задействован минимально.

Эта статья может быть небезынтересна (по стопам Ст. Роккана и некоторых других западных авторов) для того, чтобы использовать в геополитическом *case-study* аппарат структурно-функциональной социологии Т. Парсонса. Я всегда считал, что эта теория, слишком часто трактуемая в духе хвалы действующему социальному порядку, на деле способна служить хорошей основой исследования некоторых социально-политических дисфункций и срывов. А именно возникающих из-за того, что выполнение нескольких парсоновских функций сразу переносится на институты, полноценно представляющие одну из этих функций и в ее пользу подминающие другие. Я здесь мог бы вспомнить советские колхозы, предполагаемые быть органами хозяйственной жизни, но в обстановке второй гражданской войны начала 1930-х реально утверждавшиеся как органы неограниченного государственного контроля над сельским населением, несущие реванш за грозное нарастание влияния деревни по ходу первой гражданской войны конца 1910-х и начала 1920-х и во время нэпа.

90-е видели в северокавказском приграничье два варианта вырастания суверенной государственности, представленные Чечней и Северной Осетией. В первом случае попытка чеченского прорыва из российской федеративной системы признания была подорвана прежде всего неразвитостью аппаратных структур, когда государственность, опиравшаяся исключительно на мобилизующие политические цели, уже на эмбриональном этапе пошла вразнос. В категориях парсоновской теории пришлось бы сказать, что функция целедостижения подорвала функцию интегративную, которая была составлена ценой формального возвращения Чечни в российскую федеративную систему признания. Северная Осетия – другой пример фрустрации реальной государственности, не состоявшейся из-за того, что субъект вынужден был свернуть функцию повышающего его суверенный статус целедостижения, чтобы сохранить необходимый для его относительной безопасности нормативный (федералистский) порядок.

Итогом этой серии моих работ о суверенитете стала статья про новый возраст России. Я обратил внимание на тот факт, что идея суверенитета утверждалась в российском политическом строительстве в два этапа – вначале в связи с большевистской попыткой восстановить империю под новой, реформационной сакральной вертикалью, а затем во время краха этой попытки, выразившегося в сжати и федерализации России. По меркам концепции, утверждающей о прохождении Россией шпенглеровского цикла в особой его форме, эта фаза ее истории гомогенна европейским XVI–XVII векам, когда старое понятие «суверенитета» как политической собственности обретает новую роль, узаконивая конец идеальной христианской империи католицизма. В соответствующий момент своего цикла это понятие востребовала и Россия. Если на Западе утверждение «суверенитета» соединялось с переходом от квазифедеративного мира европейского средневековья к типу унитарной государственности модерна (а потому соединение суверенитета с федерализмом там всегда было проблемой), то у нас идея суверенитета оказалась и в 1920-х, и 1990-х сцеплена с идеей федерализационной – идеей укорененности власти не в мировом священном проекте, независимо от того, предполагает он его или нет, а в проступающих конъюнктурах нашей земли – геополитической и геокультурной дифференциации российского острова.

Особого комментария заслуживают два «эзотерических постскриптума» в конце книги: «Человек принимает решение» и «Метаистория и теория драмы».

Вышедшие из моих искановских наработок, они были опубликованы в первой половине – середине 90-х, однако в то десятилетие читателя себе по-настоящему не нашли. Первая из них посвящена морфологии *сознательного человеческого решения*, в том числе решения политического. Вторая – экзотической для нашей политологии проблематике, поставленной лет 20 назад группой американских когитологов: соприкосновениям между теорией литературных жанров и моделированием поля возможных трактовок, которые сознание придает как конкретным историческим конфликтам, так и эпохальным ситуациям и даже мировой динамике («всемирной драме») в целом. Я надеюсь, эти две проблемные работы достойно завершат книгу о конъюнктурах Земли и Времени.

Первая появилась в результате размышлений над той самой предложенной мною вместе с В. М. Сергеевым в 80-х схемой целерационального принятия решений, где из этих базисных блоков – «образов мира», «ценностей», «ресурсов» – синтезировались блоки «интересов» и «возможностей», а из сочетания последних рождались «цели». А затем по запросу со стороны блока намеченных «целей» из блоков «возможностей» и первичного блока «поведенческих схем» создавались «сценарии», придаваемые «целям» и превратившие их в итоговые «задачи».

Я уже говорил, что с искановских лет был озадачен вопросом: имеет ли набор когнитивных универсалий, задействованных в этой схеме, отношение к предложенной М. Вебером типологии человеческих поступков, не подчиненных критерию целерациональности, – ценностно-рациональных, аффективных, традиционных. В 1995 году я предположил, что за этими видами поведения (я изобразил их в виде самостоятельных программных персонажей, способных реализоваться по-разному в биографии конкретного человека) стоят различные схемы вывода решений. А возникают эти различные схемы в силу того, что какие-то первичные когнитивные блоки максимально развернутой целерациональной схемы в других программах передают свои функции другим блокам, оказываются ими поглощены. Например, «мир» поглощается «ценностями», или «ценности» – «поведенческими схемами». Понятно, что весь вывод решения при этом меняется: если «мир» растворяется в «ценностях», то «ценности» оказываются неотличимы от интересов, а вместе с тем выпадает и рационализация «возможностей». Оказывается, в принципе невозможно говорить о рациональных целях и задачах: на месте таковых фигурируют совершенно иные когнитивные образования (я пытался их объединить специальными терминами, которые на слух читателя вполне могут звучать претенциозно и громоздко).

Таким образом разрабатываются варианты поглощения одних блоков целерациональной схемы («схемы Сергеева – Цымбурского») другими – оказывается возможным породить иные типы решений, построив для них своего рода «менделеевскую таблицу» (вплоть до простейших массовидных реакций на идеологически закрепленные клише). Кстати, при этом обнаружилось, что каждый из «недорациональных» веберовских типов действия (будь то ценностно-рациональный, аффективный или традиционный) на самом деле охватывает более одной программы принятия решений. Кроме того, таблицу удалось существенно расширить благодаря тому, что схема Сергеева – Цымбурского изначально различала две ступени принятия решений – целеполагающую и ту, на которой цели преобразуются в реальные задачи, обеспеченную практическим сценарием. Стоило допустить, что слияние и поглощение некоторых блоков может происходить на верхней ступени, а на нижней эти блоки сохраняются, и таблица пополнялась новыми подтипами: например, моделировался персонаж, одержимый иррациональной сверхценной идеей, однако в преследовании ее обнаруживающий и деловитое взвешивание возможностей, и сценарную вдумчивость.

После выхода статьи у меня был интересный спор с одним близким мне коллегой. Он настаивал на том, что целерациональное действие – действие в «расколдованном мире» – должно рассматриваться как наиболее высокая ступень в когнитивной эволюции человечества, а потому, если не впадать в дурную телеологию, неправомерно ее использовать как основу

для вывода схем, более «примитивных» и «синкретичных». Я на это мог и могу возразить, что четыре когнитивных блока максимально развернутой целерациональной схемы восходят к базисным векторам человеческого опыта – представлениям человека о своем теле и окружающем его мире, о том, «что я хочу» и «как я могу поступать». Все блоки «недорациональных» схем (например, «ценности как источники силы» или «сверхценные поведенческие схемы») вторичны именно в силу своей особой, истинной или мнимой энергетики, вырабатываемой лишь из этих универсалий («Правое дело – победит», «Поступай по священному сценарию, и все будет, как надо», «Мир разделен на силы добра и зла, и ты на стороне добра»). Именно из-за этой энергетики подобных когнитивных слияний они так соблазнительны для человека, живущего в обстоятельствах, когда «кости – отдельно, котлеты – отдельно» (одно – мир, другое – ты; ценности и желания – сами по себе, схемы поведения – сами по себе). А ведь и впрямь, разве энергетические всплески подобных слияний в некоторых случаях не способствуют успеху (хотя они же могут выливаться в катастрофу)?

Моя статья 1995 года «Человек принимает решение» призывала к исследованию типов принятия решений, сосуществующих и чередующихся в деятельности отдельных политиков, а также преобладающих в разных религиозных и цивилизационных сообществах в различные эпохи. В дальнейшем работа над гео– и хронополитическими сюжетами отвлекла меня от этой увлекательной программы, которая теперь обозначается как перспектива в конце второй из книг, подводящих предварительные итоги этой работы.

Не менее программный характер имела для меня ко времени выхода (1993) статья «Мета-история и теория драмы». Интерес к этой проблематике у меня с 1987 года – с работы над переводом статьи Х. Олкера «Волшебные сказки, трагедии и способы изложения мировой истории» для сборника «Языки и моделирование социального взаимодействия». Работы Олкера и его коллег, американских когитологов В. Ленерта и Д. Шнейдера, заставили меня осознать сродство между рядом классических жанров европейской словесности и модусами трактовок конфликтного мира, лежащими в том числе и в основании многообразия политических оценок. Американские когитологи побудили меня не только вчитаться в «Анатомию критицизма» Н. Фрая и «Метаисторию» Х. Уайта (о последней я писал за 10 лет до того, как в 2002 году ее русский перевод вышел в Екатеринбурге), но и обратиться к выдающимся работам П. Гернади и Б. Берка, которые до сих пор не получили отклика в российском литературоведении – будучи легко доступными в московских библиотеках.

Я не жалею о днях, которые провел, размышляя над соотношением пониманий трагедии по Гернади и Берку. Для первого трагедия – это модус включения в мировую драму на стороне побежденных, а комедия – на стороне победителей. Причем оба жанровых поля членятся еще по признаку отношения авторов и читателей к победителям и побежденным. Самоотождествление с героями порождает «действия о мучениках», победные комедии и волшебные сказки (а также и рыцарские романы); отчужденная позиция порождает в комедийном поле фарсы и сатиры о преуспевающих и терпящих крах негодях, а в трагедийном – рассказ об обществе, где достойные люди бывают обречены. Как примирить модель «мирового колеса жанров» Гернади с методикой Б. Берка, убедительно показывающего, что классическая трагедия в массе случаев сосредоточена на саморазрушении страстной триады «владелец – претендент – объект» – на саморазрушении ее дотла, когда о победителе и побежденном говорить не приходится?

Я додумался до того, что модусы в колесе Гернади могут быть сгруппированы иначе, чем предлагал это автор: что активному модусу сказки, комедии и рыцарского романа, твердящих о преодолении неудач и вредительств в состязаниях и битвах, где низлагаются несправедливые владельцы и побеждаются убогие вредители-претенденты, противопоставит рассказ об изживании мира неудовлетворенных страстей через саморазрушение. Такими представляются два

фундаментальных модуса включения в конфликтный мир, когда человек соотносит себя с этим миром. Когда же отчуждается от него – тенью трагедии поднимается фарс, рассказ о саморазрушении мирка негодяев, а тенью комедии – драма (проблемная пьеса) о не изжитых, не снятых ошибках и вредительствах. Я был рад, когда увидел, что понимание трагедии по Берку совместимо с местом «действия о мученике» в «колесе» Гернади – если отчужденную тень трагедии увидеть не в проблемной пьесе, а в моралите зубодробительно-издевательского фарса.

Я вник в размышления Олкера, Ленерта и Шнейдера над возможностью сюжетов, снимающих сечения внутри «колеса Гернади» и потому приравнивающих катастрофу героя к его же торжеству (классический пример – евангельский сюжет). В ответ пришла мысль о существовании также противоположного способа нейтрализовать «путь вверх» и «путь вниз», когда успех героя, партии, цивилизации знаменует грядущий закат или коллапс (бесчисленные античные истории счастливых, сокрушаемых завистью богов: сюжет неизбежного падения сверхдержав). Я писал о четырех мифах, проступающих из системы европейских литературных жанров, – мифах, из которых каждый способен выступать как универсальный способ представления исторических борений. Это миф Агона (битвы или состязания), преодолевающего недостатки и вредительства; миф Саморазрушения (веры, системы, мифа в целом); миф Преодоления-Сокрытого-в-Крушении; миф Отравленной Удачи (удачи, оборачивающейся Гибелью). Небезынтересно, что каждый из этих четырех мифов способен расцениваться как частное преломление мифа Трудной Задачи, того самого тойнбианского Вызова-и-Ответа, способного обернуться и Агоном, и Саморазрушением, и Скрытым Блаженством, и Отравленной Удачей (именно предельная содержательная всеохватность и полиморфность этого мифа заставляет противиться его тойнбианскому прагматическому использованию по частному случаю – для объяснения рождения цивилизаций).

Увлеченный тезисом Олкера об изложении истории как витгенштейновской языковой игре, которая должна образовываться и преобразовываться на грамматической основе, я искал формулу преобразования одних модусов восприятия истории в другие. Думаю, это можно почувствовать в моих работах тех лет. Как, критикуя в 1995 году геополитический сюжет Столкновения Цивилизаций С. Хантингтона, я грамматическим правилом преобразовал его в сюжет Саморазрушения Обладателя («мировой цивилизации Запада»), где соперники Запада и претенденты на его место оборачиваются орудиями его саморазрушения.

Я и сейчас считаю своим литературоведческим достижением, которое, к сожалению, не удалось развить в специальной работе, проделанную мною транскрипцию фабул пушкинских «Маленьких трагедий» сообразно с «грамматикой трагедии» Б. Берка. Похоже, что такой подход впервые позволяет объяснить морфологию «Маленьких трагедий», представив полное исчисление трагедийных фабул, образуемых на основе предполагаемой схватки Претендента и Обладателя за Объект (при наличной пассивности самого Объекта). Особо отмечалось, что в начальной пьесе цикла – «Скупом рыцаре», где после гибели Барона Альбер должен был вступить в обладание желанным золотом, напрашивается комедийное или в крайнем случае драматическое прочтение. В качестве трагедии подобный сюжет можно воспринять, лишь отождествив гибнущий мир с фигурой Барона, с его жизненным миром. Однако в 1993 году я, воображением политолога подставляя в фабулу «Маленьких трагедий» вместо Обладателя, Претендента и Объекта Номенклатуру, Демократию и Государство, неизменно выводил вполне трагедийное высказывание об участи России (так же, как распознавал в идеологических маревах тех лет очертания великих мифов Агона, Сокрытого Блаженства и Отравленной Удачи).

Прав или нет один из многолетних (с небольшими перерывами) сотоварищей, называя эти мои наработки «игрой в бисер»? Я вижу в этом очерке об антропологических предпосылках политических суждений проработку тех предельных гуманитарных возможностей политологии, не сознавая которые, я никогда бы в нее не пошел, с оглядкой на которые я строил и строю мой проект.

Несколько лет назад две ученые женщины из Института социологии надумали брать у меня интервью для некоего сборника, где мое участие в числе других проиллюстрировало бы житейскую и психологическую ситуацию моего поколения. Я рассказал им о моих работах за 15 лет и, в частности, посетовал на читательскую не востребованность нескольких любимых мною текстов. На что одна из социологинь с некоторым раздражением высказалась: «Да кому это все вообще могло бы понадобиться?». Как разительно вторила она тому настроению, которое нередко навещало меня в эти годы и которое заставило меня вынести в начало этой статьи есенинский эпиграф – издевку над полной прекраснейших мыслей и планов книгой, создававшейся «в стране самых отвратительных громил и шарлатанов».

Слава богу, что в юности довелось мне прочесть и другие стихи, в такие минуты нарастающим внутренним звучанием перебивающие голос есенинского гостя: «Мы бродим в неконечном здании / По шатким, дрожащим лесам, / В каком-то тупом ожидании, / Не веря вечерним часам. / Бессвязные, странные лопасти / Нам путь отрезают... мы ждем. / Мы видим бездонные пропасти / За нашим неверным путем... / Нам страшны размеры громадные / Безвестной растущей тюрьмы. / Над безднами, жалкие, жадные, / Стоим, зачарованы, мы... / Здесь будут проходы и комнаты! / Здесь стены задвинутся сплошь! / О думы упорные, вспомните! / Вы только забыли чертеж!»

В «Метаистории и теории драмы», как и в некоторых других моих текстах, встает дорогое мне понятие «зона» – истории, представляемой как синхронное зрелище, как хронополитический ансамбль Града земного. Каждое мое интеллектуальное исследование я начинал с крика: «Иду на вы!» в адрес величайшего онтологического и гносеологического преступления – конъюнктурщины, дробящей, разбивающей историю, обращающей ее в марево. «За все грехи мои тяжкие, что не верил я в Благодать», быть может, кто-то решит усмотреть оправдание моей работы в нелживом переживании конъюнктур Земли и Времени как рода Господних энергий, из которых восстает дизайн мира, дизайн России в их многоликости, споре и контрапункте с Вечностью, сближающий наше время с тем, что нас ждет в последний час истории.

СЮЖЕТЫ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ РОССИИ

I «ОСТРОВ РОССИЯ» ЗА СЕМЬ ЛЕТ

Приключения одной геополитической концепции

Первый вариант статьи был опубликован в 1997 году в десятом номере аналитического альманаха «Россия и Мир: политические реалии и перспективы» под заглавием «“Остров Россия” за пять лет». В переработанном виде текст появился на сайте журнала «Полис» в двух первых – декабрьском за 2000 год и мартовском за 2001 год – выпусках рубрики «Виртуальное эссе» (<http://www.politstudies.ru/uni-versum/esse/index.htm>). Впоследствии статья была размещена на целом ряде влиятельных интернет-ресурсов без ссылки на первоисточник. – *Прим. ред.*

Уже несколько лет обозреватели идеологических движений в современной России отмечают растущий в ней «спрос на геополитику». Один из таких авторов – относящийся, кстати, к этой тенденции резко отрицательно, – недавно написал, что у нас «на авансцену политического сознания вышла... не концепция и не теория, а именно идея геополитики... более того, идея начинает постепенно трансформироваться в идеологию». Указывая, что «с конца 1995 года в официальных документах высших эшелонов российской власти прижилась формулировка «национальные и геополитические интересы России», тот же автор утверждает: «Идеология геополитизма (будем называть ее так) оказывается поистине универсальной: под ней подписываются, ее в принципе разделяют... практически все... силы внутривнутриполитического спектра России от президента до любой оппозиции. Причем идея эта выходит далеко за рамки рецепта для внешней политики, становится в России конца 90-х годов фактически образом восприятия и постижения внешнего мира и формирования собственного отношения к нему» [Косолапов 1996: 57, 61].

Эта оценка не чужда преувеличения, да к тому же сейчас можно лишь предполагать, что станет с «идеологией геополитизма» в еще не наступившем конце 90-х. Пока несомненно одно: причины симпатии русских к «идее геополитики» заключены в восприятии ими тех перемен, которые страна пережила в начале десятилетия. Ибо для большинства русских страна не раскололась, а сжалась, и продолжение свое Великая Россия – СССР обрела не в СНГ, а в Российской Федерации с ее непривычными границами. Мало кто подобно Г. О. Павловскому готов видеть в РФ просто «беловежский» суррогат, существующий «вместо России». Живее ощущение, что государственная и цивилизационная российская традиция продолжается, но в непривычном географическом образе. Отсюда – притягательность доктрины, объявившей своим предметом роль пространственно-географического фактора при определении и достижении государствами их целей. Геополитику как бы призывают объяснить России, к чему надо стремиться и чего можно достигнуть в новом облике.

Не забудем и другого обстоятельства: в обществе, круто разделенном по социальным ориентирам, геополитика, представляя страну в ее разнообразии как единого игрока по отношению к внешнему миру, несет в себе миф общей пользы, деления выигрышей и проигрышей на всех членов «российского клана». Поэтому искомая многими партиями и элитными

группами идеология, которая бы «сплотила Россию», почти неизбежно должна включать сильный геополитический компонент. Если Жириновский и Зюганов это поняли давно, то к концу века запоздало, как жирафа, начинают схватывать и «верхние эшелоны».

Но те же самые преобразования русской географии, которые делают «идеологию геополитизма» притягательной для политически ангажированных русских, с другой стороны, крайне затрудняют воплощение этой «идеологии» в виде «концепции» и «теории». Причина тому – в самом характере геополитики как духовной отрасли. Бесполезно упрекать ее за то, что она вся насквозь не является «серьезной наукой». Пожалуй, что она – псевдонаука, да уж зато псевдонаука превесомая и архисерьезная. А если по-настоящему, то она – не что иное, как система знаний и интеллектуальных операций, включающая научный блок лишь наряду с блоком, явно ненаучным, представляющим некоторый род философствования, а заодно и с третьим блоком, содержащим навыки определенного, сугубо прагматического умения. Как же в рамках геополитики соотносятся эти операционные блоки?

Согласно принимаемому мною определению блестящего отечественного культуролога Я. Э. Голосовкера, философия есть искусство строить картины мироздания из смыслообразов [Голосовкер 1987: 148]. Соответственно геополитика как род философствования является искусством строить из географических смыслообразов политические картины мира. Если мы возьмем труды классиков геополитики – англичанина Х. Маккиндера, немца К. Хаусхофера, американца Н. Спайкмена, русского евразийца П. Н. Савицкого и других, – то в основе их моделей нам откроются именно картины мира, построенные из географических образов, которые в этих текстах оказываются окружены политическими и духовными зарядами и в соответствии с ними вступают в динамические сюжетные отношения между собою. В свою очередь прагматическая геополитика не может быть ничем иным, как умением, опираясь на ту или иную фундаментальную картину мира, извлекать из нее программу практической политики – дедуцировать из образов стратегию.

Что же за место в этой системе способен обрести собственно научный блок?

Думается, это место вполне отвечает тому общему принципу отношения между политикой и наукой, который был некогда обоснован М. Вебером [Вебер 1990]. Как известно, согласно этому мыслителю, политики в выдвижении и преследовании общезначимых целей руководствуются ценностными установками – «демонами», из которых один «демон» бывает предпочитаем другому, обычно по совершенно внерациональным причинам. Наука не может отвратить политика от его «демона» или, наоборот, отдать «демону» во власть, но она способна достаточно достоверно предвидеть результат, к которому политик придет, руководствуясь тем или иным из этих наитий. Так же и с геополитикой. В ее сфере роль демонов играют ценностно-заряженные способы географического видения мира вместе с отвечающим каждому такому способу политическим «мировым сюжетом». На мой взгляд, научный блок в системе геополитической мысли и геополитической практики призван объяснять общие принципы порождения подобных картин мира с упакованными в них политическими велениями. Более того, он обязан выявлять трансформационные, контрастные и иные соотношения между этими императивными картинами, а главное – моделировать те итоги, к которым каждая из них может привести государство, если будет воспринята его верхушкой.

Именно исключительным значением прерациональных по происхождению географических смыслообразов в аппарате геополитики бывает порою обусловлена алхимическая паранаучность ее языка. Надо сожалеть о том, что часто ее тексты сводятся к географическому философствованию или к пропаганде стратегий, походя извлекаемых из априорных «геофилософских» посылок вроде борьбы Континента с Океаном, без научно-аналитической цензуры таких сюжетов. Но все опыты перековки геополитики в «серьезную науку», которая бы всецело основывалась на экономических и социологических выкладках, а также на многоаспектном учете всевозможных международных отношений и соглашений, обычно вместо «обновления

геополитики» почему-то приводят лишь к инфляции квазиполитического печатного листажа, не достигающего своей цели, ибо не обеспеченного золотым запасом географических образов. Такова уж эта сфера: здесь рациональность по-настоящему возможна лишь как вывод и критика неизбежных или вероятных следствий, проистекающих из посылок в виде политически нагруженных образных моделей земного пространства.

В том-то и сложность положения геополитики в нынешней России, что с изменением границ страны в начале 90-х оказываются дискредитированными практически все ее привычные географические образы. И западничество, и евразийство с их геополитическими преломлениями выступают на протяжении этого десятилетия в качестве старых искушений, лишь затемняющих вставшие перед русскими новые вызовы. Россия как «государство Европы» – идея фикс нашего великоимперства, которое опосредовало утверждаемую им принадлежность страны к «цивилизованному» миру присутствием России на одной географической платформе с романскими и германскими народами: геополитика выступала для империи превращенной формой цивилизационных притязаний. «Кто не слеп, тот видит», что с нынешним отходом России из Центральной и Восточной Европы в полной мере раскрылась наша роль в судьбах европейского ареала XVIII–XX веков – роль небезуспешно навязывавшей себя ему чужеродной силы. Сегодня евроатлантическая цивилизация все более определяется через совокупность хозяйственных и военных международных структур, и объявлять себя «другой Европой», а то и «подлинной Европой» вне этих структур – самозванчество, безобидное лишь до тех пор, пока из него не выводятся стратегические следствия. Такими следствиями могут быть либо возвращение к натиску на Запад как оправданию нашего исторического существования, либо удовлетворенность ролью смиренного и поднадзорного маргинала в сугубо гуманитарных европейских институтах.

Что же касается евразийства, то хотелось бы пожелать людям, называющим себя «евразийцами», хоть сколько-нибудь разобраться во взглядах между собою, так как под этой этикеткой у нас циркулируют воззрения, имеющие между собою немного общего. Евразийцы-«ортодоксы» не то предлагают России спланироваться с Азией против «романо-германского шовинизма», не то приглашают ее распахнуться до Синьцзяна, включив в себя побольше тюрок и монголов, чтобы «не попасть к немцам на галеру». Но ведь «евразийскую миссию» возлагали на Россию и те проектировщики ее судеб, которые в предыдущие годы побуждали ее завоевать Среднюю Азию для «мирового цивилизованного» соблазнами многопартийности и неотъемлемых прав. Наконец, благодаря группе «Элементов» «евразийство» у нас получило еще один экзотический смысл – сплочения России сразу и с онемеченной Центральной Европой, и с миром ислама в «суверенный гроссраум», вздыбившийся против «атлантического мондиализма». Единственной общей чертой, объединяющей все масти евразийства, является одержимость Большими Пространствами, в «связывании» которых видится оправдание бытия России, тогда как западники всех розливов находят такое оправдание в неперменной нашей «принадлежности мировой, то есть европейской, истории» хоть в каком качестве – по мысли некоторых, пусть даже в виде общеевропейского пугала. Отсюда понятно и появление синкретистских евразийско-западнических доктрин, преподносящих «связывание великих пространств Евразии» как долг России, выполняемый ею на благо самого Запада, – и иные подобные выверты.

Уже в 1992 году было ясно, что сторонники сближения России с «тюрко-исламским миром» догматически закрывали и будут закрывать глаза на исход русских из Средней Азии и Казахстана, на диаспоризацию остающихся там русскоязычных, вытесняемых в строго определенные «социально-экологические», в том числе и профессиональные ниши, наконец, и на то, что существенным стимулом к поддержке демонтажа СССР со стороны русских было напряжение внутри «единого пространства» между фертильностью южных республик и умеренной рождаемостью в основном российском ареале. Остается лишь сказать: слава богу, что Россия в 90-х не пыталась насаждать демократию в тюркской Средней Азии, учитывая уроки

произрастания этого фрукта на Кавказе и в Таджикистане, а также и опыт прошлого, когда Запад не ленился поднимать азиатов против русских, пытавшихся вытребовать свою долю «бремени белого человека». Обнаруживаемые сегодня Россией сугубо выборочные, прагматические интересы к южным пространствам – будь то доступ к определенным видам ресурсов, стабильность режимов, закрывающих нас от исламского напора с юга, или «русский вопрос» в зарубежье, включая даже и проблему «Казахстана в Казахстане» – плохо стыкуются с евразийскими программами, как бы последние ни определять. Позиции, которые нынче отстаиваются русскими в Приморье, на таджикско-афганской границе, на Кавказе, скорее дают основание расценивать наступившее время как контрევразийскую фазу нашей истории.

Что же касается группы «Элементов», то ее задушевный сюжет, где дьявольской монополярной гегемонии США противостоят при содействии России крепнущая претенциозная пан-Европа и ислам, вместе изгоняющие американцев из Старого Света за океан, представляет не более чем гротескное преувеличение тенденций, подлинный смысл которых раскроется лишь через десятилетия. Пока что европейские новые правые, которых «Элементы» берут себе в попечители, далеки в своих странах от кормил власти, а среди тех интеллектуалов «коренной» Европы, которую видят в будущем без американцев, преобладают видящие ее также и без русских и, кстати, с достаточно жесткой селекцией восточноевропейцев. В 90-х встреча Европы с исламом на холмах Боснии как-то мало напоминала братский антиамериканский комплот, да еще жаждавший принять православие третьим.

Лозунг «Россия – европейская держава» геостратегически обесмыслен, а «Россия-Евразия» не дает никаких ориентировок, кроме стимула к чисто словесным авантюрам вроде «последнего броска на Юг». Что же остается? Апелляции в стиле Н. Н. Моисеева к межеумочности России на предполагаемом «пути из англичан в японцы» лишь указывают возможность, заключенную в географическом положении России, но при этом начисто игнорируют то обстоятельство, что в истории эта возможность никогда не реализовалась. Основные традиционные связи Евро-Атлантики и великих приокеанских платформ Азии всегда в прошлом осуществлялись в обход и помимо России. Да, Россия держит подступы к Европе и к Азии, но не лежит она между ними ни с какой обязывающей неизбежностью. Много ли мы найдем изобретений или идей, которые из Евро-Атлантики пришли бы в Китай, Индию или на Средний Восток, либо совершили путь в обратном направлении – через Россию? Конечно, если отвлечься от экспорта марксизма в XX веке, да и то Япония узнала марксизм независимо от русских.

Именно из-за отсутствия у России такой традиционной посреднической роли «распыленность» страны между двумя очагами экономической мощи создает угрозу ее выживанию как политического целого: сегодня положение между двумя океанами – образ, вовсе не утверждающий за нами непременно какую-либо прочную мировую функцию, но больше способный сигнализировать об опасности расползания России. Извлечь выгоду из такого расположения можно было бы преимущественно в том случае, если бы для экономик хоть одного из этих океанских мегаареалов Россия именно как целостность (причем целостность, не вписанная в этот ареал до конца) была способна выглядеть оптимальным, даже необходимым компонентом мирового устройства. Но, повторяю, сама по себе наша «промежуточность» не дает подхода к решению этой задачи, подменяя своим мифом вопрос о подлинных, в том числе географических, возможностях, которыми страна располагает или не располагает для подобного геоэкономического маневра, превращающего ее в транслятора-посредника той или иной из ареальных панэкономик начала XXI века.

Российский «спрос на геополитику» оказывается неудовлетворенным, потому что «демоны» привычных геополитических образов России обессилены в новых условиях. Из их внушений то ли не возникает никаких практических программ, то ли утверждаемые смыслообразы оказываются (как с «путем из англичан в японцы») слишком уж очевидно придуманными под отчаянно изыскиваемые программы, и потому вызываемые «демоны» выступают

слишком уж тряпичными самоделками. В конце концов под именем геополитики начинают преподноситься не имеющие никакой опоры на географию рецепты специалистов-международников – вроде рекомендаций почему-то зовущего себя «геополитиком» К. Э. Сорокина: по нынешней слабости России балансировать ей на равном удалении от центров силы, совершенствовать сельское хозяйство насаждением фермерства, завязывать двусторонние отношения со странами СНГ [Сорокин 1996]. Зачем называть это геополитикой? Если прав некий деятель, заявивший что «демократия не заменит геополитику», то ведь и голый прагматизм ее тоже не заменит, а разве что попытается подменить на геополитическом безрыбье.

На самом деле, как бы привлекательно ни выглядела сорокинская идея «балансирующей равноудаленности», очевидно, что мера реализуемости подобной стратегии во многом, если не в основном, зависит от географических обстоятельств государства. Поразительно, что полагающий себя геополитиком автор даже не задался вопросом: при каких условиях континентальное государство, подобное России, может проводить политику, бывшую на протяжении столетий характерным атрибутом государства островного, именно – Англии, обретавшейся в стороне от европейской континентальной системы? Известно, что Бисмарк после франко-прусской войны пытался выработать для Германии некое стратегическое подобие «балансирующей равноудаленности» от Англии, Австрии и России, но в конце концов перед постоянной французской угрозой Германия, заведомо не способная выиграть войну в случае обретения Францией хоть одного союзника, была вынуждена искать подстраховку в сколачивании военных блоков, и вся «равноудаленность» пошла к черту. Возможность «балансирующей равноудаленности» для континентальной державы может опираться только на очень специфический географический паттерн. Либо автор, рекомендуя такую политику, держит в сознании соответствующий географический образ страны – и тогда хорошо бы предъявить его читателю в доказательство своей геополитической кредитоспособности, либо... еще раз спрошу: «Какая же это геополитика?».

Российский «спрос на геополитику» требует осмыслить предпосылки сжатия страны, домашние и мировые, осознать ее метаморфозу как функцию от изменения мира и наметить для трансформированной России оптимальную стратегию в мутирующей ойкумене. При этом надо оценить момент новизны в отношении сегодняшней России к пространству по сравнению с великоимперской эпохой, делавшей ставку на проецирование мощи. Внешняя геополитика и геоэкономика должны соединиться с геополитикой и геоэкономикой внутренней, обосновывающей такую тактику освоения Россией собственного пространства, которая позволила бы извлечь наибольшие позитивные результаты из проступающей новой географической структуры государства. Наконец, работая на утверждение интуитивно явной исторической связи эпох нашей цивилизации, геополитика призвана различить в прошлой нашей истории, доимперской и великоимперской, черты того опорного паттерна России, который отчетливо обозначился в конце XX века, выделившись из «Больших Пространств России-Евразии». Но при всем этом нельзя забывать об очерченной выше интеллектуальной специфике геополитики. Если в споре со своими предшественниками великоимперского времени современный российский автор хочет обосновать новую геостратегию для своей страны, он должен в первую очередь предложить стране ее новый образ, который бы послужил порождающей моделью для всех последующих, подлежащих анализу и рациональной критике прикладных выводов.

Считаю себя вправе утверждать, что из всех отечественных исследователей, заявивших о себе в последние семь лет на геополитическом поприще, только я попытался решить эту задачу, выступив в 1993 году со статьей «Остров Россия» [Цымбурский 1993]. Если кто-нибудь эту претензию сумеет доказательно оспорить, я был бы этому только рад.

На самом деле важнейшие положения «Острова России» были выдвинуты еще прежде в двух публикациях, прошедших незамеченными и сегодня уже чуждых мне по своему стилю.

В последнюю неделю 1991 года, как запоздалый отклик на Беловежские соглашения, была напечатана моя небольшая статья «Сердцевина Земли, или Остров на материке» [Цымбурский 1991]. Сейчас я бы не решился ее перепечатывать, но по-прежнему могу повторить положения, почти буквально перешедшие в «Остров России»: «По отношению к европейской региональной системе Россия всегда играла роль двоякую, выступая не только как объективно географическая “Сердцевина Земли” (в этой первой заявке на новую геополитическую модель я еще раскланивался перед “мифом хартленда”. – В. Ц.), но и огромный “российский остров” с окруженными русским населением и частично сплавившимися с ним иноэтническими вкраплениями, прилегающий к “старой Европе” с востока. “Островные” черты – не только четкость океанских границ на севере и на востоке и сходный по трудности преодоления барьер из гор и пустынь на юге... Однако сходную роль играло и то, что на западе российский массив был отделен “морем”, или скорее “проливом”, небольших народов и государств, не принадлежавших к романо-германской Европе. Таким российским островом мы всегда были и остались».

Тот же лейтмотив – в заключение этой заметки, где делается еще весьма наивная попытка вывести из смыслообраза набросок стратегии: «Россия исторически не только “сердцевина Земли”, но и “остров среди континента”. Органическая сейчас внешняя политика для нее – “островная”, консервативная, с поддержанием по возможности спокойствия на окаймляющих ее территориях-“проливах”, с наведением связей-“мостов” поверх и в обход конфликтных очагов, вспыхивающих у ее границ, с четкой, дробной проработкой системы геополитических, экономических, оборонительных интересов и дифференцированным подбором союзников на каждый интерес».

В этой заметке налицо уже и лексика «Острова России» (территории-«проливы», «геополитический Ла-Манш» Восточной Европы), и некоторые смысловые ходы позднейшей статьи (скажем, тезис о стремлении России в великоимперскую эпоху к утрате «островного модуса»), и, главное, ее прагматика: «пришло время утвердиться в островном политическом мировидении». Можно припомнить: в этой статье я не только одним из первых писал о повышенной важности китайской проблемы именно для России, отступившей от Европы, но и предсказывал, что попытки «братско-славянского» сближения с Украиной необходимо обернутся «союзом руховцев со всеми видами национал-сепаратистов в России» (почти за три года до появления галицийских отрядов в Чечне).

Годом позже как соавтор обзора, посвященного спорам о стратегии национальной безопасности «России после СССР», я попытался позитивно переосмыслить участвовавшие иронические сопоставления РФ в границах 1992 года с Московским царством XVII века. В резюме обзора я отмечал: «Эпоха обособленности России от европейской системы сменяется в великоимперский период пафосом непосредственного втягивания России в дела Европы. Сейчас, когда этот период закончен и области, присоединенные Россией в процессе расширения на запад, снова легли между ней и объединяющейся романо-германской Европой, не принадлежа ни той ни другой, в российской политике неизбежно возрождение прагматических и изоляционистских доимперских стереотипов... Россия, возникшая в 1991 году, представляет собой в политико-географическом отношении своеобразное возвращение к допетербургской фазе в истории русского государства... но этот вариант, так долго остававшийся запасным, не менее (если не более) органичен для государства с российскими геополитическими параметрами, нежели великоимперский, изживший себя до предела». В ту пору я еще полагал, что «не следует ожидать воскрешения идеологического изоляционизма» и «новый период, возможно, будет отличать сочетание отсутствия идеологических противоречий (между Западом и Россией. – В. Ц.) с осознанной геополитической обособленностью нашего государства».

Впрочем, там же было подмечено, что дефицит в российском политическом сознании четкого представления о границах страны – «феномен, сближающий Россию с островными государствами в их особой связи с окружающими их морями и проливами (мотив, прямо пере-

несенный в “Остров Россию”. – В. Ц.). В частности, общей закономерностью, проявляющейся в истории как России, так и образцовых морских государств вроде США и Великобритании, является то, что “островное” сознание служит базой и для мессианских претензий, и для сменяющих их изоляционистских эгоцентрических установок» [Тарасов, Цымбурский 1992: 31 и сл.].

Так был нащупан новый геополитический образ России. Но по-настоящему программными, открыто заявившими его текстами стали «Остров Россия» и последовавшая за ним «Метаморфоза России» [Цымбурский 1994], с их развернутым вызовом всем разновидностям российского континентализма – будь то истерия самоотдачи чужой истории как «истории всемирной» или пафос служебной роли России по отношению к мифологизированным Большим Пространствам («великим просторам Евразии»). Для многих коллег моя фамилия до сих пор связывается главным образом с «Островом», точнее с весьма определенным его пониманием в качестве идеологической декларации русского изоляционизма. Для меня самого «Остров» – текст несовершенный и уже во многом устарелый – значим демонстративной отчетливостью утверждаемого географического смыслообраза и тремя положениями, каждое из которых стало основой для особого направления в исследовательской парадигме, разрабатывавшейся мною все последующие годы.

Во-первых, в «Острове» были очерчены конкретные особенности инвариантного геополитического паттерна, не только сближающего Россию XVII и конца XX веков, но в более или менее явном виде сохранявшегося в качестве пространственных несущих конструкций нашей государственности в великоимперские столетия. Сегодня к перечисляемым там признакам я добавил бы еще один, сугубо физико-географический: преимущественную опору нашего государства во все 450–500 лет его существования, вопреки евразийцам с их степняческой патетикой, на лесную и лесостепную зоны северной Евро-Азии – те зоны, относительно которых степи выступают внешним поясом, «своей» периферией государства. Соответственно мной был обозначен диапазон вариаций, в котором можно говорить о сохранении России как геополитического субъекта, и проведены пределы, за которыми этот субъект пришлось бы считать ликвидированным. К этим «трем пределам», каковы государственное раздробление российской платформы; поглощение ее какой-либо из «цивилизаций теплых морей» (или раздел ее между несколькими такими цивилизациями); абсорбция западных междоцивилизационных «территорий-проливов» Евро-Атлантикой, позднее, в статье «Циклы похищения Европы», я добавил еще и четвертый: аннексию трудных пространств нашего востока или юго-востока народами какой-либо из соседних цивилизаций или «территорий-проливов».

Во-вторых, в «Острове» была обоснована трактовка «похищения Европы» Россией в XVIII–XX веках как двуединого процесса с нерасторжимыми цивилизационно-стилевым и собственно геополитическим измерениями. Образ «России – государства Европы» воплощается параллельно и в стиливой имитации европейских культурных и политических форм, и столь же последовательно – в стремлении империи к силовому присутствию на европейском субконтиненте, земле цивилизации-образца. Я не делал ни малейшего исключения и для нашего евразийства, доказывая постоянное присутствие в евразийской внешней политике императоров и большевиков примет «инвертированного европеизма», «окольного европохитительства».

В-третьих, подчеркивалось, что откат России с ее параевропейских и параазиатских пределов, «отход на остров», должен способствовать регионализации и выдвижению на первый план проблем внутренней геополитики, особенно относящихся к трудным пространствам Новой России за Уралом.

Публичные отзывы на «Остров» и «Метаморфозу» образуют, в значительной своей части, впечатляющую копилку курьезов. Журналистка Л. Л. Лисюткина в «Новом времени» реферировала содержание «Острова» так: «Россия имеет достаточно внутренних ресурсов,

чтобы развиваться независимо от мировых экономических рынков. Тем самым она оградит себя от дестабилизирующих эффектов политических кризисов и колебаний конъюнктуры. Надо отказаться от западных кредитов и сконцентрировать силы на внутренних проблемах». После этого пересказа, в котором (почти по Воланду) самое интересное – это отсутствие в нем, за исключением последних слов, каких бы то ни было соответствий с обозреваемой статьей, Лисюткина чутко указывает на явную возможность для русского фашизма, отказавшись от экспансии, «выступить с изоляционистских позиций: отгородимся от коррумпированного нерусского мира и построим у себя на “острове Россия” тысячелетнее царство» [Лисюткина 1995: 10]. Напротив, весьма бдительный к фашистским поветриям С. Е. Кургинян, тем не менее, распознал в «Острове» преимущественно чаяние строителей либерально-буржуазной России: «Сейчас мы все рассыплем, трансформируем, а потом соберем новую модель – “остров Россия”... у нас будут и метрополия и колонии» [Кургинян 1995: 449]. Другой замечательный «собиратель пространств» – А. С. Панарин – высказался об «Острове» дословно следующим образом: «Продукт сочетания заемного “разумного эгоизма” (да почему же заемного? – В. Ц.) с языческим натурализмом, не ведающим, что в основе больших государств лежат не естественные ниши, а цивилизационные идеи мощного интегративного характера» [Панарин 1994: 26]. Впрочем, для «Метаморфозы» он нашел не менее кинжальные слова: «Со сложным типом сознания мы здесь имеем дело: носители его не так наивны, чтобы мечтать о “маленькой русской Швейцарии в Евразии”. По-видимому речь идет о партнерстве с Западом, напоминающем партнерство Лени Голубкова с МММ» [Панарин 1995: 73]. На этом фоне было не так уж и обидно, что один из поклонников А. Г. Дугина – по счастью, устно – обозвал меня «агентом мондиализма, разрушающим Евразию».

В определенном кругу словосочетание «остров Россия» на некоторое время сделалось юмористическим титулом для «воровского острова» демократического компрадорства, и Г. О. Павловский в одном из своих ювеналовских очерков жизни «беловежских людей» написал: «В этом смысле речь действительно идет об “острове Россия” по остроумной метафоре Цымбурского в одноименном эссе, который зря не ставит вопрос: чем собственно будут питаться островитяне, когда у них кончатся припасы с провиантских складов затонувшего СССР?» [Павловский 1994: 135]. Дошло уж вовсе до фарса, когда наш геополитик К. Э. Сорокин, резко высказавшись против «стремления к изоляционизму» и образованию «острова Россия», тут же, шаг в шаг с моей «Метаморфозой», начинает проповедовать для России конца XX – начала XXI века «британский» (то есть «островной») вариант внешней политики [Сорокин 1996: 74, 56] – именно тот вариант, который в истории известен как «блестящая изоляция».

Но здесь же хочется вспомнить и об авторах, довольно быстро оценивших смысловой потенциал «островной модели». Так, Е. Н. Стариков в «Новом мире» отозвался об «Острове Россия» как о «наиболее целостной теоретической концепции, альтернативной теории России-хартленда» [Стариков 1995: 239]. Среди отечественных политологов на какое-то время воспринял эту модель как геополитическую и вообще россиеведческую парадигму М. В. Ильин. Он начал с попыток развить и обобщить ключевую метафору, говоря его словами – «четче увидеть переходы от внутренних пространств острова к прибрежным заливам, мысам и шхерам, затем к шельфу и, наконец, к морским глубинам, за которыми – шельф, шхеры и прочие проявления иного острова», при этом широко используя данные «геоморфологии, рельефа и, прежде всего, бассейного деления, климатических, в первую очередь зональных характеристик... с учетом ландшафтных и почвенных данных, миграций вещества и энергии, как естественных, так и антропогенных, расселения, транспортных и информационных инфраструктур» [Ильин 1994: 21]. В дальнейшем в нескольких работах, прилагая и развивая мою модель, он пришел к результатам, заставившим меня по-новому осмыслить и серьезно скорректировать всю разрабатываемую парадигму [Ильин 1994: 20; Ильин 1995: 37–53]. Примерно через три года после опубликования основные идеи «Острова» начали приживаться в обиходе

экспертного сообщества. Можно надеяться, что то же произойдет и с новой, переработанной версией модели – версией, условно титулуемой «Земля за Великим Лимитрофом».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.